

Евгений Гришковец.

Драматург, актер, режиссер, короче говоря, явление, заставившее критиков ввести в обиход термин «новый сентиментализм», уроженец Кемерово и житель Калининграда Евгений Гришковец в минувшем году дебютировал в кино в картине Алексея Учителя «Прогулка». В 2004 году состоится очередной дебют: на днях издательство «Время» выпускает в свет первый роман Гришковца, «Рубашка». Сегодня Газета публикует фрагмент из книги.

Я отлично знаю, что звонить, конечно, не нужно. В этом нет решительно никакого смысла! После таких звонков становится только хуже. Причем в любом случае. Например, вот ты не выдержал и позвонил. Предварительно придумал причину, высосал из пальца какой-то предлог и набрал заветный номер... И тебе не ответили! До этого звонка было не здорово, а после... стало просто невыносимо! Почему она не ответила? Не услышала звонка? Опять же почему? Не хочет отвечать? Может быть, у нее определился номер того, кто ей звонит, то есть мой номер, и она не пожелала ответить? Почему? Я надоед? Или она занята? Или она не одна? Почему она не отвечает? Надо бы позвонить с другого, неизвестного ей номера...

Или она ответила, но коротко сказала: «Извини, не могу сейчас говорить, перезвони сама» — и отключилась. Почему не может? Уже нерабочее время или, если рабочее, зачем же так-то! Она перезвонит! Когда? Ждать невыносимо! Но она уже сказала, что перезвонит сама, и, значит, сам я уже перезвонить не могу. Она же сказала!.. Вдруг она в больнице у кого-нибудь или на похоронах, мало ли что. А если она позвонит не скоро, как тогда жить? А если вовсе не позвонит сегодня, как спать? Как дожить до завтра? Надо немедленно придумать совсем весомый повод, чтобы как бы не мочь снова не позвонить.

Или я позвонил, а она обрадовалась, мы поговорили, о чем-то договорились даже... И вот прощаемся, я говорю: «Пока, целую», — а она: «Пока-пока». И не сказала «целую». Почему? Почему она не сказала? И я начинаю думать, думать... И понятно, что срочно нужно придумать предлог, чтобы снова позвонить и снять это напряжение, а иначе можно просто сойти с ума.

Или звонил... и все хорошо! Поговорили прекрасно и договорились обо всем, и она «поцеловала» в конце разговора, и попрощались хорошо. И минут 10—15 после такого разговора — счастье и покой. Но скоро, очень скоро покой улетучивается. А просто после такого прекрасного разговора ты вспоминаешь каждое Ее слово... У тебя больше ничего нет, кроме этих слов. Ты перебираешь весь разговор, все его детали, как драгоценные камешки, и сначала радуешься... а потом камешки меркнут, их становится НЕДОСТАТОЧНО! И нужно еще, еще... И желание позвонить становится еще сильнее и невыносимее, чем до того последнего звонка... И нужно немедленно найти причину снова набрать Ее номер.

Или Ее номер занят, она говорит с кем-то...

То есть звонить ей не надо. Ни в коем случае. Это я понимал. Понимал с самого начала.

Я помню, как она обрадовалась, когда я позвонил ей в первый раз. Узнала не сразу, но... почти сразу — и обрадовалась. Три дня, которые я непонятно как прожил... Те три дня после той встречи, когда она дала мне свой телефон, и до того, как я ей позвонил... Казалось, все те три дня я только вдыхал и не выдыхал. А тут она обрадовалась, и я выдохнул. У меня так легко-легко получилось предложить ей встретиться! Она согласилась! Не в тот же день, конечно, а через пару дней.

Мы встретились в кофейне на бульваре... совсем недалеко от Чистых прудов. Я пришел раньше и видел, как она подходила к кафе. В этот раз я разглядел ее очень хорошо и подробно. Оказывается, я каждый раз забывал и забываю ее лицо. Не в том смысле, что не помню его. Но в смысле — не могу удерживать его в памяти и воспроизводить. Оно так прекрасно, что мне не хватает памяти на воспроизведение! А ее фотографию я не хочу иметь при себе, и вообще не хочу ее фотографию... Непонятно, зачем фотография нужна... Хотя я хотел бы беспрерывно ее фотографировать.

Она пришла тогда почти точно вовремя. На ней было легкое пальто... У нее прекрасный вкус! Как мне нравится, как она одевается! От нее так пахнет! Мне нравится все! Я так ее люблю!!! Слишком сильно! Невыносимо!

Мы только один раз были в том кафе, а я не могу теперь проезжать мимо него. Я стараюсь этого не делать. Мы просидели тогда в нем не более сорока минут, выпили — она чай, я два кофе. Говорили ни о чем, она смеялась, а я смотрел на нее и думал о том, как я хочу взять ее сейчас за руку и не отпустить никогда. Посидели сорок минут, и это кафе стало для меня «нашим» кафе. Я не могу туда пойти больше, и вид этого кафе ранит меня. И бульвары... все бульвары ранят. И весь город ранит меня беспрерывно. Потому что она здесь. А все те места, где мы встречались, стали просто эпицентрами нестерпимого... волнения, тревоги...

Вот, к примеру, на открытии косметического салона она дала мне номер своего телефона, и теперь все косметические

салоны мучают меня и заставляют вздрагивать. Мало того, даже слово «косметика», и то как-то тревожит. И слово «космос»... из-за близости звучания не оставляет шансов быть спокойным хоть иногда.

И вот так со всем! Я узнал, что она работает в туристической фирме и занимается авиаперелетами — теперь для меня все турфирмы стали источниками сильнейших сердечных спазмов... И все офисы всех авиакомпаний тоже. Все-все, что было хоть как-то с ней связано... А с ней было связано ВСЕ. Особенно этот город.

Я ехал и думал: «Уже час дня, а я никак не могу ей позвонить, нет внятной причины, да еще Макс тут. Надо быть с ним. Куда его девать?!» Еще нужно было захватить на один объект. Я вел «стройку». Ну то есть делал очередной магазин, и там возникли какие-то проблемы, и нужно было захватить — поругаться. Нужно было привести в чувства бригаду строителей, которые, видимо, расслабились. Ехать туда было рано. Есть я не хотел. С этим в последнее время вообще были проблемы. Я не ел ни черта! Не хотелось. Паскаль даже спросил меня как-то: «Саша! Ты что, не пользуешься едой?!» Ну не лезло в меня! А что еще можно делать в Москве в обеденное время в будний день? И вдруг пришла счастливая мысль. Я обрадовался ей. «Постригусь», — решил я. — Надо постричься.

В школе, в старших классах, я очень хотел иметь длинные волосы, но они не очень росли. Волосы у меня вообще не очень. Никогда мне мои волосы не нравились. Я стригусь не часто и значения волосам особого не придаю. Но когда мне бывает плохо, не в смысле заболел или ожогился, а когда долго плохо... мне хочется побить голову наголо. Я уже делал это. Помогает. Не знаю чем, но помогает. Становится как-то легче, что-то обновляется. И некоторые время каждый подход к зеркалу вызывает удивление и даже улыбку. То есть после бритья головы моя внешность вызывала у меня улыбку.

Я с радостью побрил бы голову и в этот раз. Но что Она об этом подумает, как ей это понравится. И если она спросит: «Зачем ты это сделал?», я же не смогу ей сказать: «Понимаешь, я слишком сильно Тебя люблю, я не могу справиться с этим чувством, я схожу с ума. Вот я и подумал: может быть, будет лучше мне побить без волос. Может быть, станет легче».

Я не могу так сказать! А что тогда говорить? Все остальное не будет правдой. А как я могу ей сказать неправду?! И, кстати, я ей еще ни разу не сказал прямым текстом, что люблю ее.

Я поехал на Петровку. Там, во дворе, есть одна знакомая парикмахерская, где можно надеяться попасть к хорошему мастеру без записи... в обед, в будний день. Я давно перестал ходить в такие парикмахерские, где приходится сидеть и ждать в живой очереди. Те парикмахерские остались там, в Родном городе. Там в очередях сидят мальчики и пенсионеры. Стригут их одинаково. Там громко работает радио. Толстые парикмахерские говорят еще громче. Они говорят обо всем-всем, как будто тех, кого они стригут, вовсе не существует. Они говорят, стригут, потом кричат: «Следующий!» — берут венчик или щетку и, продолжая разговор, плохо метают у своего рабочего места. «Как будем стричься?» — и опять свое. Если бы мне, как в детстве, подкладывали доску под задницу, чтобы я сидел выше, я бы продолжал ходить в такие парикмахерские. Там меня стригли и хвалили за то, что я такой хороший. И я казался себе очень талантливым и чудесным человеком.

Мне повезло. Оказался свободный мастер. Она охотно согласилась меня постричь. Маленькая, худенькая, можно сказать, костлявая, с очень выразительным острым лицом. «Такая может свести с ума», — подумал я. — И наверняка кого-то уже свела». Мне очень повезло с ней. Она оказалась немногословная, внимательная и такая, ну... в общем, когда она меня стригла, то от сосредоточенности, ответственности сжимала губы так, что губы белели. Короче, два месяца назад я обязательно взял бы у нее телефон, чтобы якобы иметь возможность стричься только у нее.

— Как будем стричься? — глядя на мое отражение в зеркале, спросила она.

— Ну так... покороче. Сверху уберите чуть-чуть, уши откройте, впереди так... ну-у, в общем, чтобы было прибрано, но не прилизано, понимаете? Изади слишком явной окантовки не делайте, я не офицер.

Она улыбнулась, запустила пальцы мне в волосы, пошевелила ими.

— Понятно. Пойдемте голову помоем, — сказала она.

— Пойдемте, хотя я мыл голову утром.

“Рубашка”

(глава из романа)



— В порядке у вас волосы, просто с мокрыми волосами легче работать. Она мне мыла голову, массируя ее и поливая теплой водой. Зачем я так влюбился? Как бы мне было бы сейчас хорошо, если бы не это.

Как только она стала меня стричь — я начал засыпать. Я видел в зеркале себя, завернутого в... эту... ткань, не знаю точного слова, в общем, в то, во что заворачивают в парикмахерских. Из свертка торчала голова. Голову стригла женщина. Она внимательно рассматривала мои волосы и стригла их. Она лучше меня знала, как мне будет лучше, какую и где оставить длину волос. Я пришел сюда, потому что хотел, чтобы обо мне позаботились.

Она касалась моей головы, легонько поворачивала и без усилий наклоняла ее. Я засыпал. Было так приятно. Глаза мои закрылись. Я увидел какие-то белые пятна среди темноты. Я думал, но думал ту мысль, которую думал не здешний я, а тот, который находился во сне.

Не могу сказать, что я видел сон. Я же не спал, как спят в постели ночью. Это был другой сон. Сон, который бывает, только когда тебя стригут. Потому что сон в вагоне метро или сон на лекции — это другие сны. В общем, я подумал... И мысль была такая, которую просто так не воспринести. Это была не мысль даже, а идея, которая пришла в виде желания, мечты, видения и даже истории. Но пришла и ушла в один миг... как вспышка. Как свет молнии в ночи. Молния освещает мир на миг, но видно все в деталях. Много-много всего видно! И можно этот миг описать долго-долго. Так и со мной. Идея пришла в одно мгновение, и щелчком, во всех подробностях... Сейчас я расскажу, что мне пришло. Я увидел...

Быстро стемнело, и мы зажгли костры. Наш избитый батальон — стрелковый батальон измотанного и обескровленного экспедиционного корпуса — готовился покинуть лагерь. Мы получили приказ срочно отступать. Отступить нужно было ночью, тайно, не привлекая внимания неприятеля. Мне приказано было остаться. Осколки моего взвода и я должны были жечь костры, чтобы враг ничего не заподозрил и думал, что наш батальон на месте. Утром мы встретим неприятеля и постараемся подарить уходящим как можно больше времени. Быстро двигаться они не могли. Было много раненых, да и те, кто остался невредим, очень страдали от жажды и усталости.

Месяц назад нам удалось прорваться на узком участке, и какое-то время мы успешно наступали. Но потом наше наступление завязло в песках и совсем остановилось. Снабжение сильно отстало. Только некоторым грузовикам удалось проползти через пески и доставить нам немного столь необходимых боеприпасов, еды и воды. Воды сильно не хватало. Последние несколько дней не удавалось думать ни о чем, кроме воды. И вот нам приказали срочно отступить.

Я был возмущен. Два дня назад наши разведчики ушли и до сих пор не вернулись. Их нельзя было лишать шанса вернуться к своим, хотя надежды на их возвращение почти не осталось. Я настаивал, чтобы кто-то остался хотя бы до утра. Вот и оставили меня и мой взвод. Я был рад.

Я прекрасно себя чувствовал. В этом мире не было женщин. Они были где-то далеко. А здесь их даже представить себе было трудно. Батальон уходил тонкой вереницей и сразу исчезал в темноте. Мы прощались быстро и молча. Кому-то пожимал руку, с кем-то обнимался. Не было сил даже на то, чтобы подумать, что мы больше никогда не увидимся. Точно не увидимся! Все так устали, что было не до таких мыслей. Кто-то спешно дописывал письмо, чтобы отдать уходящим. Последние письма! А я не стал писать. А кому?! Я хотел написать только ей! А что я ей могу написать? Что я думаю только о ней. И буду думать до самой смерти... Нет! Я не могу так ей написать... А если я напишу ей что-нибудь милое и забавное, она же все равно узнает, что со мной случилось. Она поймет, что я писал ей это милое и забавное письмо, будучи уже обреченным. Она будет плакать. А я не хочу, чтобы она плакала. Вот я и не стал ничего писать.

Поднялся сильный ветер, он поднимал в воздух песок и носил какой-то хлам по опустевшему лагерю. Жуткий зной сразу сменился холодом. Ветер почти срывал пламя с костров. Огонь завывал. На длинном флажке громко хлопал наш флаг. Пока мы будем живы — он будет там.

Мне было хорошо. Я так устал, так сильно страдал от жажды и едва стоял на ногах от недосыпа, что просто ничего не чувствовал, кроме сухого языка во рту и тяжелых век, которые моргали все медленнее и подымались не выше середины глаз. Все это притупило остроту мысли о том, как сильно и нестерпимо я ее люблю. Завтра, а точнее, уже сегодня все кончится. Я чувствовал себя отлично!

Я прошел, проверил и поправил костры. Потом спрыгнул в неглубокую траншею и добрал по ней до пулемета. Пулемет был обложен мешками с песком. Я погладил пулемет и пару раз легонько похлопал его ладонью. Потом вынул из кармана плоскую стальную фляжку, встряхнул ее. Там было немного виски. Я пошелестел во рту языком, пошевелил губами и даже потрогал потрескавшиеся губы пальцами. Но пить не стал.

Я посмотрел вверх. Звезд было много-много. Потом посмотрел туда, куда был направлен пулемет. Там, в темноте, далеко, виднелись костры вражеского лагеря. Туда два дня назад ушел Макс и пока не вернулся. Я обещал ему, что мы допьем виски вместе. Макс такие обещания не забывает. Я сунул фляжку обратно. Я же остался здесь ждать его. Я не мог уйти, иначе как я буду жить? Что это будет за жизнь, если я уйду?!

Я сел на дно траншеи, прямо у пулемета. Я не спал последние несколько суток. Борьтаться со сном было уже невозможно. «Посплю», — подумал я, — можно поспать чуть-чуть». Сон сначала расслабил мою нижнюю челюсть, потом шейные позвонки, глаза стали закрываться, а нижняя губа отвисла. Но мысль в голове продолжала звучать. Такая ясная и радостная мысль: «Хорошо, что нет никаких сил и переживаний! И еще хорошо, что ей нельзя позвонить. Невозможно! А то бы сейчас думал, как ей позвонить, о чем ей сказать, нужно звонить или нет!!!! Хорошо мне! Хорошо!»

Шея и челюсть окончательно расслабились, и голова упала на грудь...

Моя голова упала на грудь, и я проснулся. Парикмахерша хихикнула.

— У меня ножницы очень острые. Осторожнее, пожалуйста.

— Скажите, а многие засыпают, когда вы их стрижете?

— Да все почти, — глядя мне в глаза через зеркало, сказала она. — Да вы спите, только не дергайтесь. Еще минут десять можно поспать.

Какое там! Я совершенно обалдел от удивленного. Там было так хорошо! Там было прекрасно! Господи! Что это со мной?! Мне нужно туда.

Если бы я знал технологию возвращения!!! Возвращения туда, где остатки моего батальона... ну, в общем, туда... Я бы вернулся... только бы меня и видели.

— Интересно, а где вы только что были? Вы так улыбались хорошо, — очень приятным голосом сказала парикмахер.

— Улыбался?

— Да-а-а! И губами шевелили! Очень мило. Далеко, наверное, слетали только что?

— Очень далеко. Очень!

— Как же холодно-то! Так я устала от зимы. Я бы хотела сейчас куда-нибудь в теплые края, — она не улыбалась, просто говорила и продолжала стричь.

— А как вы поняли, что я был в теплых краях?

— Я ничего не поняла! Просто хочу лета поскорее или в теплые края. А вы, значит, только что погрелись? — она продолжала стричь.

— Точно! Погрелся, — я покивал головой.

— Не надо головой трясти. Ножницы очень острые...

В этот момент я увидел в зеркале человека... Мне было видно, как у меня за спиной какой-то человек подошел к большому окну парикмахерской и стал всматриваться внутрь. Окно было замерзшим, поэтому он приблизил лицо вплотную к стеклу. Я не смог толком рассмотреть его. Пальто, на голове ничего. Он коротко оглядел парикмахерскую и отошел, вышел из поля моего зрения.

Моя мастер закончила стричь меня. Она вымыла мне голову. Потом высушила волосы феном. Горячий ветер трепал волосы и обжигал кожу на голове. «Как в пустыне», — подумал я. Хорошо, что я постригся. Хорошо!

Вот только мелкие отстриженные волосы нападали за воротник. Одно неверное движение при разматывании этой чертовой мантии... и за воротником оказались колочие волоски. Нужно захватить сменить рубашку и вымыть шею. Но до вечера это вряд ли получится. Я обречен оставшийся день терпеть мучительный зуд и раздражение на шее. Но зато я бывал Там! Рад такого можно потерпеть.

Уходя, я пожал руку женщине, которая почти час заботилась обо мне и дышала совсем-совсем рядом. Почти час! Я был ей искренне благодарен. Очень!

Я вышел из парикмахерской. И постоял несколько секунд у двери. Боковым зрением я увидел человека в длинном темном пальто, который поспешно сел в автомобиль. Я тут же посмотрел прямо туда, но он уже скрылся за тонированным стеклом машины. Мне показалось, что это был тот же самый мужчина, что заглядывал в окно. Мгновенно вспомнился свет фар в затылок... Что за ерунда? С какой стати? Кто я такой, чтобы за мной следить? Чепуха!

Машина, в которую сел тот человек, поехала прочь, а вскоре повернула и скрылась. Это был темный и скучный большой «Мерседес». Обычный «Мерседес», каких в Москве много. Номер я запомнил.

«Да ну, — подумал я, — ерунда!» У меня однажды были неприятности. Меня обвинили в воровстве денег. Заказчики, совсем молодые ребята откуда-то с Урала, рванули где-то денег и решили сделать бильярдный клуб. Я был совсем неопытен. Они дали мне большую сумму и попросили сделать все «по-человечески». Еще они сказали, чтобы я их сильно не беспокоил, а когда деньги кончатся — они дадут еще.

Деньги кончились довольно быстро. Видимо, у них тоже. Они обвинили меня в воровстве. Были какие-то тягучие и дурацкие разговоры, они угрожали, страшили. Я очень переживал. Тогда я только начал работать в Москве и был шепетиллен в вопросах денег, проводил сутки напролет на стройке... А тут вон как.

Они пугали меня, а я верил. Конечно, я старался не показывать страха, но было неприятно. Они даже изобразили слезку за мной. Короче, получил полезный опыт. Но в последнее время у меня не было подобных ситуаций... Так что... ерунда, подумал я.

газета

моряк с «Дредноутов»

Евгению Гришковцу 37 лет. Он родился в Кемерово, в 17 лет поступил в тамошний университет на филфак. Отслужил три года срочной службы на флоте, о которых позже рассказал в моноспектакле «Как я съел собаку». Основал кемеровский театр «Ложа». В 1998 году покинул Кемерово и переехал жить в Калининград. Примерно в это же время получил признание московской публики и критики. Лауреат двух «Золотых масок», «Антибукера» и премии «Триумф». Автор пьес «Город», «Зима», «Записки русского путешественника», а также спектаклей «ОднорвЕмЕнно», «Дредноуты», «Планета», «Осада». Снимался в телефильме «Азавель», а также в картине Алексея Учителя «Прогулка». Выступал с группой «Бигуди», с которой записал совместный альбом. «Рубашка» — его первый роман.